МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Московская книга

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Официант Яков Федорович Усков казался маленьким и старым, но было очевидно, что в ресторане гостей встречает не рядовой пищевого фронта, а мастер своего дела, артист.

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Человек из ресторана

Он был такой маленький и старый, что совесть не позволила обременять его большим заказом. Но голод взял свое. Еще бы, четверо здоровенных мужиков дорвались до стола лишь в шесть часов вечера — между обедом и ужином, после целого дня беготни по городу и уймы провернутых дел, когда нет и минуты свободной, чтоб наскоро проглотить чашку кофе с бутербродом. Теперь мы намеревались отхарчеваться и за обед, и за ужин. Он с понимающей улыбкой выслушивал непомерный, словно в бреду, заказ:

— Мне ассорти «Дружба», бульон с каракатицей, утку по-пекински, филе с грибами, свежие овощи, мороженое и кофе, — сказал один.

— Мне то же самое и еще — трепанги и креветки, — подхватил другой.

— Мне тоже трепанги! — воскликнул первый.

— Давайте так, — предложил третий, — трепанги, креветки, мидии — словом, дары моря — для всех, четыре бульона, четыре утки по-пекински, два филе…

— Пельмени фирменные, — перебил четвертый с плотоядной улыбкой. — Помидоры, огурчики… — И официанту: — Послушайте, почему вы не записываете?

— Ничего, ничего! Я слушаю.

— Вот что значит профессиональная память!..

— Значит, повторим: дары моря, бульон, утка… Может, лучше все-таки записать?

— Продолжайте, продолжайте!..

— Ну и память! Сколько вам лет, дедушка?

— Восемьдесят второй, внучек!

Намек дошел. На столике стоит в металлической рамке карточка официанта: Яков Федорович Усков.

— Простите, Яков Федорович!.. Ну, значит, десерт, кофе, боржом, конечно, бутылку «Столичной» для начала…

— Стоп! — сказал старый официант и вынул из кармана блокнот с тонким карандашиком в кожаной петельке.

— Теперь можно записать. — И в ответ на полные недоумения взгляды пояснил: — Надо же основу знать, так сказать, базис, остальное — надстройка.

Вскоре мы оценили мудрость этого философского высказывания. «Не пойдет! — мягко, но непреклонно говорил

Яков Федорович. — К водке это не пойдет». Так он помог нам разобраться в закусках. А затем, добро посмеявшись над нашей детской жадностью, составил превосходное меню раннего ужина, чтоб вкусно, сытно и необременительно для плоти и духа.

— Мне же лучше, когда больше заказывают, — план выполняется. Да ведь вам этого сроду не съесть. Все на тарелках останется. Нехорошо. И денег жалко, и к пище неуважение. Вы не сердитесь, что я вас от лишка предостерег?

Мы заверили старика, что ничуть не сердимся.

— А память нечего зря трудить, коли записать можно, — размышлял вслух Яков Федорович, ловко разливая боржом по фужерам. — Память для другого нужна — вилку, тарелку сменить, хлеб вовремя добавить, убрать, вытереть, чтоб никакой неопрятности за столом, чтоб гостю было чисто и удобно…

Свое рассуждение о профессиональной памяти официанта Яков Федорович продолжил в другой раз, когда мы встретились у него дома на Садовой-Спасской. А в тот вечер, не желая обременять нас собой, он все затенялся, оставаясь при этом под рукой. И мы понимали, что перед нами не рядовой пищевого фронта, а мастер своего дела, артист.

— Главная память официанта должна быть о том, — просвещал меня Яков Федорович, — что за столиком у него сидит дорогой гость, которому надо всемерно услужить… Да, услужить, и ничего тут зазорного нету. Поднеси спичку, налей воды, подай салфетку, руки не отвалятся, сделай человеку маленький праздник!..

Праздник, запомним это слово.

По затрате физических сил труд официанта может быть приравнен к труду шахтера. За смену официант перетаскивает значительно больше пятисот килограммов. Абсолютный чемпион мира Василий Алексеев поднимает в троеборье за шестьсот килограммов, но делает это не сходя с места, а Яков Федорович Усков набегивает с грузом марафонскую дистанцию. А разве можно сравнить субтильный крой Якова Федоровича с могучей статью Алексеева?

В странной игривости природа многим выдающимся людям отказывает в росте. Достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта.

Яков Федорович, не в обиду будь сказано, еще ниже. Но, подобно Наполеону, он плечист и крепок скупым телом, к тому же без намека на тучность.

Крошечный, жильный, плечистый, Яков Федорович, разменявший девятый десяток и насчитывающий трудового стажа семьдесят с лишним лет, из породы богатырей. И не только в телесном, но и в нравственном смысле, как и положено русскому

богатырю. Вспомним Илью Муромца, Добрыню Никитича, Чурилу Опленковича, Дюка Олексича. А вот Алеша Попович нарушал богатырскую этику, за что и бит бывал. Васька Буслаев раз созоровал и тут же жизни лишился. Русским богатырям сила непомерная дарилась только для добрых, разумных, благородных дел. А кто нарушал негласный договор, того ждала кара. У Якова Федоровича есть свое моральное кредо, свой нравственный закон, возводящий его невеликую службу в ранг служения.

Некоторое время назад существовала «тетрадь официанта», куда каждый посетитель ресторана мог написать несколько слов благодарности или недовольства в адрес того, кто его обслуживал. Разумеется, это не было обязательным и никого не обременяло. Хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Но люди охотно писали, чаще всего хорошее. Если посетителя всерьез возмущало невнимание или грубость официанта, он обычно не тратил пафос праведного гнева по мелочам, а требовал жалобную книгу, которую после длительного и ожесточенного сопротивления выносил из каких-то тайников, прижимая к груди жестом материнского отчаяния, директор ресторана. А вот когда официант был на высоте — расторопен, толков, ласков, — появлялась потребность записи в тетрадке.

Кстати, почему эти тетрадки отменили? Меня всегда занимало, как возникают дурацкие решения, вернее, как происходит отмена умных решений. Ну, ввели тетрадки, убедились в их добром смысле — спрашивают, не ленятся, пишут теплые, от души, слова. И официанту приятно — приятнее чаевых знак человеческой признательности, и ресторану вроде бы не в ущерб. И вдруг отменили те же самые люди, которые эти тетрадки ввели. Может, убедились в нерентабельности мероприятия или обнаружили какой-то моральный урон? Кому только: официанту, посетителям, ресторану, всей системе питания, социализму?

И невольно думается, что им просто делать было нечего. Ну, ввели — слава Богу, а теперь чем заняться? Искать реальное занятие для себя, делать что-нибудь руками, головой — неохота! Не лучше ли еще раз собраться за крытым зеленым сукном столом, уставленным пепельницами, графинами с водой или бутылками боржома, и, посовещавшись всласть, отменить прежнее решение. А потом можно снова собраться и снова ввести, скажем, «блокноты официантов», дабы не повторяться, а затем снова отменить. И так до бесконечности, вернее, до пенсии.

Ну, это к слову. Яков Федорович свою разжалованную тетрадочку сохранил, она ему дорога памятью. Я листаю ее и вдруг натыкаюсь на трогательную, наивную, а если вдуматься, то

трагическую запись: «Потрясены вежливостью официанта, товарища Ускова…» Потрясены!.. Казалось бы, такая пассивная и слабая добродетель, как вежливость, не должна потрясать человеческую душу. Потрясти может героический подвиг, акт самопожертвования, выдающееся творческое деяние или открытие, но вежливость — простое, обиходное качество — вроде бы обязательна для всех насельников большого дома, именуемого Землей. И все же — потрясены…

Яков Федорович не только практик вежливого обхождения, у него есть своя теория вежливости. Попробую эту теорию изложить. Итак, вежливость должна парить повсеместно: дома, на работе, в школе, техникуме, институте, в метро, автобусе, трамвае, поезде, в парикмахерской и бане, в прачечной и пошивочной, в поликлинике и больнице, в магазине, кафе и ресторане. Вежливости давно пора стать общепринятой нормой поведения, и уж подавно ты вправе требовать вежливости за свои-то деньги!

Ты не можешь позволить себе ходить в ресторан каждый день. Даже если ты располагаешь свободным временем, неуемной жаждой развлечений и мужеством, позволяющим из вечера в вечер оглушаться джазовой музыкой, наблюдать однообразную трясучку танцующих и самому замешиваться в душную толчею, ежевечерний доступ туда тебе закрыт. Если только ты не подпольный миллионер типа Корейко или торговец ранними овощами, лавровым листом и мартовскими мимозами. Ресторан дорог, слишком дорог, чтобы рядовой труженик мог превратиться в завсегдатая.

Поэтому поход в ресторан в некотором роде праздник. Ты надеваешь новый костюм, свежую рубашку, чистишь обувь, тщательно бреешься и усилием воли выбрасываешь из головы все заботы и неприятности. Естественно, ты хочешь, чтобы праздник был праздником, а не дорогостоящим хамством. Между тобой и праздником находятся: швейцар, видящий свое назначение в том, чтобы не дать никому войти в порученные его охране двери, даже когда свободных мест полно; гардеробщик, уверяющий, что «вешать некуда»; хмурый, неприступный, глухослепонемой метрдотель, считающий каждого посетителя, кроме немногих, помеченных таинственным знаком избранности, личным врагом, и, наконец, официант, последний в перечне, но первый по возможности отравить настроение. Равнодушный, непроспавшийся, не ведающий, что имеется, а чего нет на кухне и в буфете, рассеянно принимающий любой заказ, а потом монотонно сообщающий: «вырезки нету», «помидоров нету», «сухого вина нету» — и напрочь забывающий о вашем

существовании после подачи хлеба и графинчика с теплой водкой. Все остальное он подает — после бесконечных напоминаний — в холодном виде, кроме поплывшего в тепле мороженого. Официант, огрызающийся на каждое, даже самое невинное замечание и превращающийся в тигра лютого, если, упаси Бог, ты не заказал водки или коньяка. Малое подобие этого праведного гнева можно наблюдать лишь в парикмахерской, если после бритья и стрижки откажешься от пахучего одеколона. И до чего же часто ты покидаешь царство света, музыки и вина в твердом убеждении в своем полном ничтожестве и что деньги не дают счастья, да и вообще лучше ходить в музеи или на кладбища, там твое человеческое достоинство окажется в большей сохранности. Особенно справедливо это в отношении музеев, на кладбищах иной раз слишком много пьяных. И нет ничего удивительного в том, что люди испытывают такой же голод по вежливости, как то бывает по музыке, стихам или хорошему футболу. И утолившие голод пишут, не скрывая благодарных слез: «Мы потрясены вежливостью официанта…»

Яков Федорович рассматривает вопрос о вежливости исторически. После революции старая вежливость уже не годилась — и салонная, и тем более ресторанная, с оттенком подобострастия. Такая вежливость свободным людям ни к чему. В ту пору простота обращения — до бесцеремонности и грубости — была явлением естественным и даже положительным — как реакция на принудительную, чуждую вежливость разрушенного мира. И понятно, что вежливости у нас сильно поубавилось. В последующие трудные годы борьбы, строек и войн убыль эта пополниться не могла. Так и пришли мы в сегодняшний день, не создав новой, сознательной вежливости, в темной памяти о том, что грубость — знак независимости. Молодой официант хамит иной раз не по свойству натуры, а чтобы показать свое равенство с посетителем. Это можно понять: велик ресторанный фольклор о надругательствах пьяных богатеев над скромным достоинством «человека из ресторана». И морду горчицей мазали, и опивки пить заставляли, подмешав туда всякой гадости.

— Хотя, — присовокупляет Усков, — я лично подобных безобразий не наблюдал. Может, в каких-нибудь речных трактирах или низкопробных кабаках такое и случалось, но в первоклассных заведениях — никогда. Да мы бы и не позволили, у нас тоже свой профсоюз был, «Общество официантов», я в нем с десятого года состоял. Все же закон: клиент всегда прав — железно действовал не только в магазинах, но и в ресторанах. Так что приходилось иной раз и перемогать обиду. Но так ли уж это страшно? А разве в других профессиях все происходит по закону

высшей справедливости и не приходится терпеть и от сослуживцев, и от начальства? Ну и улыбнись про себя на выходку какого-нибудь захмелевшего невежи, живи и работай дальше, а не превращайся сам в хама. А главное, не стремись опередить посетителя в боевых действиях. Может, он и не собирается их открывать. Люди идут в ресторан для отдыха, а не для войны. У нынешних официантов, не у всех, конечно, но у многих, неприязнь к гостю прямо-таки в крови. «Почему я должен его обслуживать?» — ох, и наслушался я подобных рассуждений! А ты подумай, сколько народу тебя обслуживает: шахтер, дающий уголь на-гора, нефтяник, добывающий нефть, пильщик на лесоповале и сплавщик, литейщик и сталевар, и те, кто водит поезда, самолеты, городской транспорт, кто дает свет, воду и газ в квартиры, кто охраняет твое имущество и жизнь, кто строит и ремонтирует дома, шьет одежду, растит хлеб, да чего там далеко заноситься, а домовый слесарь, которого ты вызываешь в любой час дня и ночи, а монтер, а телевизионный мастер, таксист, телефонист — все те, без кого ты и дня не прожил бы, — разве ты признаешь за ними право на хамство, грубость только потому, что им приходится обслуживать тебя? Так вот, и ты послужи за милую душу тому же шахтеру, нефтянику, слесарю, инженеру, строителю, водопроводчику, музыканту, артисту — всем, кто на тебя работает. И если ты чувствуешь себя человеком, никто тебя не оскорбит и не обидит. Скажите, кто может обидеть меня и чем? Я солдат трех войн: Мировой, Гражданской и Отечественной, имею правительственные награды, благодарности, двух сыновей вырастил, один смертью героя пал, а другой в большого человека вырос, у меня гражданские права, как у генерала или министра, нет, меня никто не обидит, пока я сам себя не обижу — нерадением, равнодушием, невнимательностью или дерзостью. Я и молодым такого не позволял себе, а уж в старости так и подавно…

Жизненная философия Якова Федоровича вырабатывалась не в теплице, а на сквозняке. Человек из ресторана прошел огонь и воду и медные трубы: бедное деревенское детство, не шелковое ученичество у трактирщика, мировую войну и германский плен, Гражданскую войну и тиф, новую войну и гибель сына и много иных испытаний…

Трудовая деятельность Якова Федоровича началась с началом нынешнего века. Ему и десяти не было, когда отец повез его в Егорьевск и определил мальчиком в трактир. Семья Усковых, по крестьянским понятиям, была не особо большой, но бедная, да и никому не выпало прибыльно хозяйствовать на болотистой шатурской земле. И Усков-отец очень опасался, что не возьмет

трактирщик сына, уж больно мизерен росточком был Яша. Ничего, взял. Посмотрел с усмешкой на крошечного серьезного человечка и пошутить соизволил: «Мал конь, да удал!» Перекрестив сына и наказав слушаться «своих благодетелей», отец дернул вожжи и покатил домой.

О доле трактирного мальчика писалось много, и каждому понятно, что не сахар и не мед такое житье. Помимо изнурительной, недетской работы, угождай каждому старшему, терпи нрав хозяев и посетителей, вспоминай о скудном родительском крове, как о светлом рае, да смотри, как бы слез твоих не приметили. Все это выпало на долю Яше Ускову. Одно лишь хорошо, что хозяин был незлым человеком. Мало счастливый в браке с богатой, забалованной женой, он сострадательно относился к людям. Но отличался странностями, довольно обременительными для подчиненных. Каждый вечер, когда заведение закрывалось и трактирные мальчишки валились с ног от усталости, приходил он на кухню, и понуждал измученных детей к беседе, переливанию из пустого в порожнее. При этом пил пиво и курил папиросы «Трезор». Двадцать бутылок светлого осушал, две пачки искуривал, тогда только отпускал ребятишек спать впокат на полу чулана. Ему-то самому что? — завалится под теплый бок жены и дрыхнет до полудня, а мальчикам уже на рассвете бежать за водой, дровами, растапливать печь, прибирать «залу»…

У Якова Федоровича хранится любопытный групповой снимок, сделанный в канун Первой мировой войны. Это типичная фотография той поры: матово-коричневатая, отчетливая до цепочки карманных часов в отвороте сюртука и запонки в крахмальной манжете, с золотым росчерком мастера-фотографа на светлой рамке. Застыло-значительное выражение лиц и напряженность поз объясняются тем, что снимали с выдержкой, хотя над головой собравшихся сверкает гигантская ресторанная люстра. Снимок сделан после торжественного открытия и освящения нового ресторана знаменитого Ильи Арефьевича Скалкина «Золотой якорь», что в Сокольниках, купленного им у другого известного ресторатора — Кучерова. Расположены участники торжества в групповом портрете по ранжиру: в центре, откинувшись в кресле и выставив вперед стройную ногу в глянцевитом сапоге из-под откинутой полы поддевки тончайшего сукна, сидит чистолицый красавец, сильно за сорок, русые волосы разделены глубоким прямым проборомпосередине головы. Это и есть легендарный Скалкин, вознесший свою славу вровень с петербургским легендарным Палкиным.

Мальчишкой он пас коров на лугах под Волоколамском и так

наигрывал на жалейке, что всяк прохожий человек заслушивался. Очаровался тонким слухом мальчика и священник городской церкви, взял его в хор. Он пел на клиросе, пока не начал ломаться голос. Тогда его прогнали, но юноша недолго оставался без дела. Сильный дискант переломился в звучный, высокий, мягкий бас, и его взяли в русский народный хор. Вскоре он уже стал запевалой, приобрел известность, вначале в провинции, потом в столице. Подгулявшие купцы, слушая «Стеньку Разина» и «Все гулял с кистенем» в исполнении Скалкина, плакали навзрыд и кидали «лебедей». Одаренный, трезвый и деловой юноша с поклоном принимал подношение и обращал в процентные бумаги. Никто и оглянуться не успел, как солист стал хозяином хора, владельцем ресторана «Эльдорадо» в Сокольниках, восьмидесятиквартирного дома на Большой Ивановской, ресторана в Нижнем Новгороде, приносившего громадный доход в пору ярмарок, и, наконец, второго роскошного ресторана — «Золотой якорь».

К этому времени Скалкин, продолжавший дирижировать хором и петь про Кудеяра и других романтических разбойников, стал весьма видной фигурой в деловой и денежной Москве. Дочь-наследницу он выдал за молодого авиатора, вот он сидит рядом с тестем: высокий крахмальный воротничок подпирает маленькое, тугое, надменное лицо, — ему не долго осталось жить, в первые дни мировой войны его собьют над немецкими позициями. По левую руку от Скалкина — управляющий рестораном, затем два схожих между собой дородностью и важным видом метрдотеля, седой, с бакенбардами, как у Айвазовского, официант, старейшина цеха; рядом с авиатором — бухгалтер, кассир, электрик, во втором ряду — пожилые и средних лет официанты, среди них я с волнением обнаружил недавно умершего официанта из Дома кино — как победно молод, черняв и строен был тогда знакомый мне глуховатый сгорбленный старичок. В третьем ряду — встояка — молодые официанты, самый юный и самый маленький среди них — Яков Усков. Смотришь на фотографию — и с удивлением замечаешь, как отчетливо проглядывает этот светлоглазый и весь будто чуть вздернутый — головой, подбородком, плечами — паренек в нынешнем восьмидесятилетнем старце. Во всяком случае, я мгновенно нашел его среди десятков зафраченных и накрахмаленных фигур.

Скалкин, человек одаренный, быстро выделил расторопного юношу среди других новобранцев «Золотого якоря» и сделал официантом. Здесь прошел свои университеты Яков Усков. Здесь он воспитал память, научился управлять характером, работать и вести себя так, чтоб избегать и замечаний, и амикошонства. Ему это оказалось нетрудно, ибо он от рождения обладал неоценимым

для работы среди людей качеством — душевностью. Ему нравилось кормить людей, как лесковскому Шерамуру.

Работа была трудной — по четырнадцать часов в день, без выходных и без отпуска. Жалованья вплоть до создания «Общества официантов» не платили, напротив, каждый официант должен был ежевечерне опускать в хозяйскую кружку двугривенный из чаевых. А потом положили жалованье — шесть рублей в месяц. Жили, вернее сказать, ютились молодые официанты в каморке ветхого дома на Большой Ивановской, спали на нарах, как в каталажке. Все баловались куревом — в каморке дым стоял столбом. Но была молодость, и надежды, и цирк Соломонского на Цветном бульваре, и другой, братьев Никитиных, в «Аквариуме», и два чемпионата французской борьбы; у Соломонского тон задавали отечественные богатыри: Поддубный, Вахтуров, Шемякин, у Никитиных — прибалты: Лурих, Аберг. Усков предпочитал чемпионат Соломонского — честнее и добрее боролись силачи, особенно армеец Шемякин, белокожий рыцарь ковра. Красивый, сильный Лурих много жульничал, Аберг свирепствовал над противником. Был и синематограф с Верой Холодной, Мозжухиным и Максимовым, и сад «Эрмитаж» с золотоокой певицей Вяльцевой, с несравненной Плевицкой и Вавичем; были молодые, взволнованные разговоры о том, что в ресторан заходил сам куплетист Сокольский, что обедал смехач Убейко, а позже к нему присоединился Сарматов, и сколько они коньяку выпили — уму непостижимо!

Но вся эта жизнь рухнула летом 1914 года. Россия вступила в войну, и Яков Федорович с винтовочкой за плечами отправился воевать «за веру, царя и Отечество» крайним в последнем ряду 13-го Белозерского полка. А затем — четыре года германского плена, сперва в лагере, потом на ферме у хозяев. И каждый год он пытался бежать и расплачивался за неудачу шкурой: беглеца распинали на кресте и били батожьем. Лишь в 1919 году вернулся он на родину и узнал, что родители умерли, а младший брат ослеп от горчичного газа на позициях.

О том, что произошло две революции — Февральская и Октябрьская, он знал еще в плену, а о том, что революцию пытаются задушить бывшие царские генералы, услышал по дороге из плена. Вернувшись домой, он не мешкая — только могилкам родительским поклонился — пошел добровольцем в Красную Армию. Служил сперва в 5-м Тульском полку, действовавшем против Мамонтова, затем в 11-й Латышской стрелковой дивизии. Заболел сыпным тифом, попал в госпиталь, откуда, бритый, обхудавший, вернулся в Москву, в каморку на Большой Ивановской. Недолгое время проработал на Ташкентской

железной дороге и через биржу труда попал в ресторан Петровского пассажа, расцветавший вместе с нэпом. Снова на нем был черный фрачок, белый крахмал манишки, черная бабочка, снова говорил он тихим, убедительным голосом, чуть наклонившись к посетителю: «Рыба у нас сегодня отменная. Рекомендую ушицу с расстегайчиком или ботвинью с осетриной, ругать не будете». И в памяти истаивали грохот орудий, разрывы снарядов, сухой пощелк пуль, стоны и крики раненых, лазаретная вонь и горячечный бред умирающих. Жизнь снова катилась на плавных волнах ресторанной музыки.

Странное возникло у меня чувство. Я вдруг поймал себя на том, что подспудно ожидаю кульминации в своем повествовании. А ведь никакого взлета не предстоит, лишь будут меняться названия ресторанов: «Большая Московская», «Аврора», «Арарат», «Пекин», а мой герой так и пребудет слугой чужого желудка. Даже когда вновь грянет война, останется он при пищевом котле. Правда, короткое время он послужит директором вагона-ресторана, но эту пору он и сам не считает пиком своей жизни, ибо любит работать руками, а не руководить. Да, я пишу историю простого рабочего человека, который на всю жизнь остался тем, кем стал в юности. И не вырос ни в генерала, ни в министра, не проявил себя никаким выдающимся подвигом, если не считать подвигом всю его долгую честную работящую жизнь. Литература, что ни говори, больше интересуется генералами, не в узкоармейском, а в общечеловеческом смысле, — генералами удачи, генералами успеха, генералами славы. Ее заполняют герои, победители, сильные личности, люди, выросшие от нуля до рукой не достать. Можно подумать, что Герои, Творцы, Чемпионы, Удачники преобладают в человечестве. Нет, это только в Эквадоре на каждого солдата приходится два генерала, в остальном мире неизмеримо больше рядовых. Тех, кто не потряс современников ни великим свершением, ни великим преступлением, ни чудом волевого усилия, ни подвигом Геракла, ни голосом соловья, ни прыжком кузнечика, кто был на войне рядовым, а в мирной жизни незаметным тружеником, кто выстаивал все очереди, не пользовался преимуществом в годы лихолетья, ездил в некупированных вагонах, лежал в общей палате, а то и в коридоре больницы, а в день объявления войны сразу начинал собирать вещмешок. И надо думать, эти люди представляют наибольший интерес для писателя и как объект изображения, и как потребители литературы. Знаменитые герои книг не читают, они их пишут в назидание негероям.

Наиболее памятна Ускову в этот период частых перемен, происходивших не по его воле или желанию, а по стратегическим

расчетам ресторанного начальства, работа в «Большой Московской», где он задержался надолго. Находился ресторан там, где сейчас гостиница «Москва», в самом центре столицы. И посетители тут бывали необыкновенные.

Признаюсь, не сама личность вовсе не известного мне тогда официанта навела меня на писание этого очерка, а клиенты, которых он обслуживал, или, еще точнее, один клиент. Мне сказали: он знал Бунина.

Воображение услужливо подкидывало мне трогательные сцены вроде следующей. Небольшой, элегантный, колючий — цыганистая горячая красота юности уступила место лезвистой сухости нерастроганной зрелости — Бунин входит в ресторан. Мгновенным и безошибочным взглядом находит свободный столик любимого официанта. И тот, словно предчувствовав приход дорогого гостя, уже бежит к нему с подогретой бутылкой красного вина в салфетке — Бунин всю жизнь пил много красного вина — и вазочкой соленого миндаля.

— День добрый, Иван Алексеевич!

— Здравствуйте, Яков Федорович. Что это у вас пустовато нынче?

— Копят силы перед Масленой, Иван Алексеевич. Блины, они простора требуют.

— Это вы точно сказали. Дайте-ка запишу. А скоро Масленая-то, что-то запамятовал?

— До встречи меньше недели осталось.

— До встречи — это как понять?

— Ай-ай-ай, Иван Алексеевич! Масленая неделя; понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомства, четверг — широкий четверг, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощание.

— Прощеный день… Как же вы все помните, Яков Федорович! Только с вами и отведешь душу. Боится Масленая горькой репы да пареной редьки.

— Еще бы!.. Хоть с себя что заложи, а Маслену проводи!

— Продлись наша Масленая до воскресного дня!..

— Кому Масленая да сплошная, а нам Вербная да Страстная!

— Да, тяжело живет простой народ, Яков Федорович. Я вот пытался в своей «Деревне» кое-что сказать…

— Как же, как же, Иван Алексеевич, читали! Сильная вещь, художественная. Только вот значение пролетариата вы недооцениваете, уж простите великодушно на дерзком слове…

И так далее, в том же счастливом ключе…

— Бунин? — переспросил Яков Федорович, когда мы начали нашу беседу в его квартире на Садовой-Спасской, напоминавшей

о себе редкими испуганными автомобильными гудками и тяжелым шуршанием троллейбусных шин. — Нет, не помню такого товарища. Многих помню: Гиляровского — дядю Гиляя, Маяковского, Качалова, Москвина, Леонида Утесова, Демьяна Бедного, художника Якулова — всех помню, а этого, простите, даже не слыхал.

По счастию, ко времени этого признания меня настолько привлекла личность самого Якова Федоровича, что неожиданный афронт подействовал не слишком обескураживающе.

Я не умею писать очерков и боюсь за них браться. Мне кажется, что каждая очерковая тема, коль она не ограничивается рамками четкого сюжета, неисчерпаема, бесконечна. И мне рисуется страшная картина: идет жизнь, в мире свершаются грозные и радостные перемены, сменяются поколения, а я все разматываю очерковую ленту. Пугало меня это и в данном случае. Такая долгая жизнь, столько скрещений судеб, да и каких судеб, хватит ли мне остатка жизни, чтобы поведать обо всем этом? Яков Федорович с доброй, чуть насмешливой улыбкой внес успокоение в мою смятенную душу. Пережив легкое разочарование в связи с Буниным, я попросил его рассказать мне о дяде Гиляе, примечательнейшей фигуре старой Москвы.

— Видный был человек, издалека приметный. Зимой деревенский зипун пахучий носил, треух и валенки. Его все знали: мальчишки-газетчики, беспризорные, нищие, извозчики и до первейших людей столицы. Константина Сергеевича Станиславского и других артистов-художественников в ночлежку на Хитров рынок водил. Это когда «На дне» Максима Горького ставили. Их там хитрованцы чуть не избили… — И вот тут, положив узкую, сильную, чуть подмозоленную руку мне на плечо, он улыбнулся тонко — добро и насмешливо — и сказал: — Дорогой мой писатель, да к чему же это записывать? Нешто без меня не знаете, как дядя Гиляй мхатовцев к босякам водил? Неужели вы не читали его книгу «Москва и москвичи»? Я ведь тоже оттуда черпаю. Неужто вы думаете, что Гиляровский — нарасхват человек — тратил дорогое время, чтоб мне свои похождения расписывать? Ну зайдет, спросит блинов или холодной закуски, графинчик водки и бежать. Занятой человек. И я занятой — мне вон скольких обслужить надо, нету времени лясы точить. Не по жизни это, не по правде — ждать от официанта или швейцара, от гардеробщика или даже метрдотеля рассказов о великих современниках. Гардеробщик их со стороны шубы и калош знает, швейцар только с виду и по мелочи в ладонь, официант со стороны желудка, а метрдотель, может, и вовсе не знает. Недавно одного старого маркера отыскали, он

Маяковского помнит. Тот, правда, частенько приходил в «Большую Московскую» шары на бильярде гонять. После и в ресторан подымался, но ел мало, зубы болели, пить и вовсе не пил, вообще — не гурман, как, скажем, Качалов или Москвин. Так вот, нашли этого старичка маркера и стали расспрашивать. Маяковский накануне самоубийства в «пирамидку» у него играл с каким-то молодым поэтом на большую фору, Маяковский сильнейший игрок был, но столько вперед давать не мог и проигрался. Маркеру рубль за время задолжал. Маркер это дело вспомнил и говорит: «Ему что — самоубился — и ладно, а кто мне рубль отдаст?» Вот вам и очевидец!..

Но, заметив, что я приуныл, Яков Федорович добавил с той же мягкой усмешкой:

— Хотите, я вам одну историю расскажу про Василия Ивановича Качалова? Ему, видать, не с кем было поделиться, так он мне доверился. Пришел он как-то поздно, в двенадцатом часу ночи, лицо розовое-розовое, будто после бани. И сразу ко мне: «Подай-ка, братец, большой рюмаш и соленый огурчик, только поживей!» Я, конечно, заказ одним духом выполнил и, хотя мы ко всему привычные, маленько удивился и самому заказу, и такой поспешности. А Василий Иванович рюмку хлопнул, огурчиком закусил и вроде бы отошел. «Знаешь, Яков Федорович, какая со мной глупость вышла? Иду я из „Ново-Московской“ к мосту, навстречу двое, и без долгих церемоний — гони бумажник! Посмотрел на них — такие шутить не любят. „Бумажник — пожалста!“ — и небрежным жестом Юлия Цезаря отдаю им туго набитый кожаный бумажник. „Часы!“ — „Часы — пожалста!“ — и царственным жестом Бориса Годунова отдаю золотые часы фирмы Павла Буре, поставщика двора его императорского величества. Я хотел показать, что настоящий артист если и подчиняется насилию, то без страха и равнодушен к деньгам. Но эти грубые бандитские души не поняли красоты моего поведения и рассвирепели. „Ах так, — говорят, — простыми людьми требуешь? Скидавай шубу!“ Это возмутительно! Не в шубе дело, хоть она и на бобрах, но погода — гниль, весна, ветер, я могу простудить горло. А мне завтра Чацкого играть. Кхе, кхе!.. Видишь, уже кашляю. Дай мне, дружок, большой рюмаш, надо спасать здоровье. Нет, дай графинчик, когда еще мне привезут другую шубу из дома… Постой, что ты обо всем этом думаешь?» — «Думаю, зря вы, Василий Иванович, в „Ново-Московскую“ ходите. Вот у нас тут сроду никого не грабили!» А больше никаких доверчивых и важных разговоров у меня со знаменитыми гостями не случалось, хотя, конечно, всякими словами обменивались, не только о заказе или о погоде, а, скажем, о

лошадках. Любил Иван Михайлович Москвин на судьбу пожаловаться и, бывало, пытал меня: «Как думаешь, Федорыч, стоит на Снежную Королеву ставить?» Он почему-то думал, что официанты с наездниками повязаны. Разные шутки веселые отпускали, контрамарки иной раз подкидывали, — простого поведения люди. А вот недавно один прыщевик нael, напил, наскандалил да еще деньги отказался платить. «Не могу платить, я в „Неуловимых мстителях“ снимался, меня вся страна знает». А я чего-то не помню его в этом фильме. Там, правда, много народу снималось, всех не углядишь. Ни Качалов, ни Москвин, ни Леонид Утесов такого себе не позволяли, хотя их вся Москва знала…

Недолгое пребывание на ответственной хозяйственной работе — директором вагона-ресторана — кончилось в начале 1941 года конфузом: один из официантов украл дневную выручку и смазчику передал. Его накрыли, но смазчик успел бежать с деньгами. Пришлось бывшему директору вагона-ресторана выплачивать похищенную сумму из своей зарплаты. Было, конечно, горько и обидно, но утешало одно — возвращение к старому, привычному делу. Вновь Яков Федорович склонялся над клиентом, заглядывал в меню и мягко, убедительно приговаривал: семужки нет, пойдет кета, белых грибочков нет, пойдут маслятки, карского нет, пойдет на ребрышке… Ко дню своего призыва на Отечественную войну он успел выплатить долг, которого не делал.

Отечественную войну Яков Федорович прошел от Сухиничей до Кенигсберга поваром, или, по-солдатски говоря, кашеваром. Он варил пшенную, перловую и гречневую кашу, капустные щи, гороховый концентрат и макароны с кишечным салом в Подмосковье, под Минском и Молодечно, при взятии Вильнюса и Каунаса, Инстербурга и Кенигсберга. Случалось, не было ни капусты, ни муки, ни крупы, ни концентрата, он варил щи из крапивы, а хлебы пек из лебеды, но бойцы всегда получали горячую пищу. И доставлял он котлы на передовую при любой боевой погоде. Есть высокая справедливость в том, что благодарности за вторжение в Восточную Пруссию, взятие Инстербурга и Кенигсберга, наряду с пехотинцами, танкистами, артиллеристами, связистами, саперами, получал и маленький плечистый кашевар, у которого солдаты всегда были сыты. Кто прошел войну, знает, что нет ничего хуже воевать на пустой и холодный желудок. Солдаты умеют ценить хорошего кашевара. И медаль «За боевые заслуги» по делу украсила грудь человека из ресторана. Можно ведь и знамя нести да уронить в грязь, а можно

поварешку пронести достойно и гордо, как знамя. Полевая кухня — тоже род оружия, и далеко не последний…

Под Кенигсбергом произошла нежданная и безмерно радостная встреча отца с блудным сыном. Тринадцатилетний сын Ускова Витя в начале войны бежал на фронт. Обычно такие побеги кончались плачевным возвращением домой с ближайшей станции в сопутствии милиционера. На этот раз дело обернулось иначе: предприимчивый мальчонка пробрался в прифронтовую зону, выдал себя за беженца-сироту и стал сыном полка. Он побывал во многих сражениях, этот худенький, тонкой кости мальчик, на его гимнастерке с сержантскими погонами поблескивали слева медаль «За отвагу», справа — орден Красной Звезды. Он возмужал, загорел, обветрился, и отцом владело странное чувство, будто сын старше его не только воинским званием. Но прошло несколько взволнованных минут, и закаленный воин, кавалер и младший командир так же преданно и послушно смотрел на рядового, как в пору прежнего московского бытия.

Якову Федоровичу думалось, что в этот день он получил высшую награду всей своей жизни. Да и что может быть лучше для человека, чем вырастить такого сына — смельчака, патриота, романтика, воина! Он не успел отрадоваться, когда сержант Виктор Усков пал в бою. До конца войны, до победы оставались считанные дни.

Казалось, не выдержит такого удара разом постаревшее сердце отца. Он уже потерял двух дочек, умерших от нестрашных болезней — коклюша и дизентерии. Но он не знал их так, как знал сына. Одна вовсе младенцем померла, другая была постарше, но маменькина дочка, не отцова. Конечно, он горевал и плакал, жалко было и умерших, и, главное, жену, Клавдию Дмитриевну. А сейчас он даже не плакал. И не сказать, кого больше жалел — Витьку, жену или самого себя. Да и не жалость то была, не горе, а что-то иное, куда худшее, будто саму жизнь убили.

Нет, не убили. Вернулась жизнь. Пусть не сразу, пусть не вся, пусть не прежняя, а с темной дырой, которую не залатать, но вернулась. Победой, свиданием с близкими, успехами старшего сына, Глеба, кончившего Бауманский институт, приходом в дом прекрасной женщины Зои, молодой жены сына, великой радостью рождения внука Олега и пусть не исцеляющей, но помогавшей забыться работой.

Опять начался труд тяжеловеса: пятьсот с лишним килограммов в день — закусок, супов, жарких, десертов, вин. В «Арарате» основная тяжесть приходилась на шашлыки и чебуреки,

в «Авроре» — на солянки, бифштексы и шницели, в «Пекине», где Яков Федорович прочно осел с 1958 года, — на китайские блюда: утка по-пекински, курица по-сычуански, трепанги, мидии, моллюски, акульи плавники, икра каракатицы, ростки бамбука. Здесь все полюбилось Якову Федоровичу: и необычность кухни, гарантировавшей своей экзотикой заполненность меню: бывают русские блинные без блинов, кафе без кофе, но до китайского ресторана без китайских блюд еще не додумались; и солидная публика, а не «жуирующие жизнью» командированные, и местоположение против «Аквариума», где он с такой охотой бывал в юности. С тех пор Яков Федорович оставлял «Пекин» только для дел особой, можно сказать, государственной важности: он обслуживал гостей XXII съезда партии, за что удостоился благодарности, банкет в честь партийно-правительственной делегации ГДР, имевший быть в горьковском ресторане «Москва». И по научной линии у него благодарность — отлично кормил участников Международного биохимического конгресса. В Москве работают тысячи молодых, сильных официантов, а как доходит дело до больших правительственных торжеств или международных застолий, так призывают престарелого Мастера.

Что бы Якову Федоровичу написать нечто вроде наказа молодым официантам! Он захватывающе интересно рассказывает, как надо обслуживать свадьбы, банкеты в честь защиты диссертаций — ныне преобладающий род ресторанного торжества, деловые обеды, семейные трапезы, романтические ужины на двоих, лихорадочные свидания за столиком, предшествующие разлуке, неторопливые, истовые вечера старых фронтовых друзей, однокашников, сослуживцев, встречу Нового года, двусмысленные вспрыскивания ловко обстряпанных сделок. Меняется все: повадка, темп и ритм, улыбка, звуковое наполнение голоса, неизменны лишь три цвета профессионального знамени, которые Яков Федорович называет так: вежливость, внимание, культура. Ну, «культура» и тут применяется в том зыбком и всеобъемлющем смысле, какой приобрело у нас это слово. Он входит в название городского парка, им определяют выпивку («культурно посидели»), качество вождения машины («некультурно повернули, товарищ водитель»), даже таинство смерти («культурные похороны»). Но не будем придираться…

…Погасли люстры, затем и плафоны, ушли последние засидевшиеся посетители, убраны столики, кажущиеся голыми без скатертей, салфеток, фужеров, солонок, перечниц, сдана выручка в кассу. Чуть погуживают натруженные ноги. Человек из ресторана надевает пальто, нахлобучивает шляпу, прощается с

товарищами, кивает золото-окантованному швейцару и вышмыгивает из тяжеленных, будто свинцом налитых, дверей гостиницы «Пекин» в электрическую ночь города.

В сиреневых лучах прожекторов полощутся складки необъятных штанов бронзового Маяковского, жемчужной ниткой протянулись млечно-бледные шарфы фонарей к площади Восстания, сверкают витрины зримой углом улицы Горького, но уже погасли огни театральных подъездов и рекламных стендов, притухла, угомонилась «София», город отошел ко сну. Надо поспеть на метро, того и гляди, закроются двери станции «Маяковская». Человек из ресторана торопится изо всех сил и все же Садовое кольцо перебегает по пешеходной дорожке, хотя ночь сняла все ограничения. Он любит порядок, дисциплину и не отступит от правил. Вскоре он погружается в плотное тепло верхнего вестибюля, спускается вниз и успевает вскочить в последний вагон поезда, пневматические двери мягко сползаются за ним. Ему ехать с пересадкой в «Охотном Ряду» до «Красных Ворот». Оттуда пешком по совсем пустынной Садовой. Время близится к часу ночи, но он знает, что жена не ложилась, ждет его, словно он возвращается не из ресторана, а из дальнего плавания. Так заведено спокон веку, так будет до последнего дня. Он устал, но душа его покойна и ясна. Он любит этот город, где прошла жизнь, любит свой старый дом и квартиру, за минувший день он накормил много людей и не сделал ничего плохого, а завтра суббота и на весь день приведут внука, и они будут гулять по Москве, а может, и в зоопарк сходят. В порядке вещей, что дед любит внука и гордится им, но человека из ресторана радостно удивляет, что и четырехлетний внук не только любит старого своего деда, но и гордится им изо всех сил, будто сведущ о каких-то его необыкновенных достоинствах.

Жизнь Якова Федоровича Ускова — это состоявшаяся жизнь. Но пока в человеке бьется сердце, никакое существование нельзя считать исчерпанным.

— Чего бы вам хотелось от жизни, Яков Федорович?

— Вроде бы поздновато чего-то хотеть на восемьдесят втором году? — неуверенно произнес официант. — Да и есть у меня все в избытке. Я ведь не ради денег работаю, нам со старухой и пенсии хватит. Но ведь помирают старики официанты, как только работу бросят. А я еще пожить хочу.

Яков Федорович явно уходил от ответа.

— Ну а все-таки, есть у вас мечта?

— А разве может быть человек без мечты? Небось и на смертной постели мечтать не перестанешь. У меня сын, внук, я об их жизни мечтаю.

— Нет, а для себя?

— Для себя? — Его серые щеки чуть порозовели. — Стыдно признаться в таком… Мелочно! Да и мечтой не назовешь. А мечтаю я получить «Заслуженного работника общественного питания». Это высшее звание в нашем пищевом мире. Конечно, может, я его и недостоин. Но ведь бумаги-то на меня когда еще заготовили, только послать не соберутся. А это обидно! Хотя, с другой стороны, может, задумали мне сюрприз к девяностолетию сделать. Девять раз по девять на свете прожил, неужели еще одну девятку не дотерплю?..

— Яков Федорович, а почему вы, такой хороший и трудовой человек, не член партии?

Он чуть помедлил:

— Вы картину «Твой современник» смотрели?.. Помните, Губанов Ниточкину такой же вопрос подкинул? А тот говорит: в партию не может просто хороший и честный человек вступать, тут еще довесок требуется. Я слов точно не помню, но по смыслу так.

— К вам это не относится, вы и воевали, и…

— Нет! — перебил Усков. — У меня дело хуже. Ниточкину недоставало, а у меня лишек, который и не пускает в партию. Чаевые, чтоб им пусто было! Вот вы о мечте спрашивали. Уж я ли не мечтал, чтоб чаевых не давали! — пустое, дают, навязывают, можно сказать. А не могу я клиента отказом обидеть, не то воспитание…